

Александр Блок

От Ибсена к Стриндбергу



Александр Александрович Блок

От Ибсена к Стриндбергу

«Маленький норвежский городок. 3000 жителей. Разговаривают все о коммерции. Везде щелкают счеты – кроме тех мест, где нечего считать и не о чем разговаривать; зато там также нечего есть. Иногда, пожалуй, читают Библию. Остальные занятия считаются неприличными; да вряд ли там кто и знает, что у людей бывают другие занятия...»

Содержание

Александр Александрович Блок От Ибсена к Стриндбергу	0004
#2	0019

Александр Александрович Блок

От Ибсена к Стриндбергу

Маленький норвежский городок. 3000 жителей. Разговаривают все о коммерции. Везде щелкают счеты – кроме тех мест, где нечего считать и не о чем разговаривать; зато там также нечего есть. Иногда, пожалуй, читают Библию. Остальные занятия считаются неприличными; да вряд ли там кто и знает, что у людей бывают другие занятия.

В домике на городской площади без единого дерева живет купец с семьей. Против окна – церковь с высокой папертью; направо – позорный столб; налево – тюрьма и сумасшедший дом. Круглые сутки – грохот и гул далеких водопадов, в дневные часы прорезываемый «еще чем-то вроде то хриплых, то визгливых, то стонущих женских криков».

Странные звуки, странный вид из окна, странная жизнь; не для нас, впрочем; каждый из нас непростительно солжет, если скажет, что не видал в жизни чего-нибудь позорного,

чего-нибудь тюремного, чего-нибудь сумасшедшего; что какая-нибудь «высокая паперть» вечным тупиком не упиралась в его окно; что он не слышал ничего «хриплого, визгливого и стонущего».

Все это мы видали и слышали не раз.

В купеческом семействе рождается сын: Генрих Ибсен. Все описанное глубоко врезается ему в память. Хриплые звуки, – объясняет он впоследствии, – это «работали на водопадах сотни лесопилок. Читая о гильотине, я всегда вспоминал об этих лесопилках».

Таких «благодарных» воспоминаний и у нас не занимать стать. Для многих из нас – жить среди современной жестокости и нелепости, «у позорного столба, под стон лесопилок», – значит ожесточить то, что в душе должно быть нежным, размягчить то, что должно быть твердым: живую ткань сердца превратить в железное сито, легко отбрасывающее от себя людские пени; огонь воли залить водой, опустить руки, решить, что жизнь есть роковая, хотя и тяжелая необходимость. Но – «с волками жить, по-волчьи выть».

С Ибсеном этого не случилось. Будущее его покажет нам, сохранил ли он нежную ткань сердца. Возрос и возмужал он по крайней мере в воззрениях человеческих, а воли ему хватило на то, чтобы свершить путь, напоминающий, хоть и смутно и нелепо, путь героя. С Ибсеном произошло то же, что с Зигфридом; только не в дремучем лесу, не в молниях и радугах Валгаллы, не в огненном кольце Валкирии, – а в нашем будничном и сером свете (припомним однако: полуденная скука в дремучем лесу; Зигфрид тупо строгает прутик; зевки Фафнера в пещере; в Рейне скучно плещутся глупые рыбы).

Ибсен, с последовательностью, конечно роковой, порывает связь с *родительским домом*, где ему нечего делать; в самом деле, что делать «герою» со старым карлой, который думает только о золоте (о коммерции, о сельдях) и варит сыну мерзкое зелье – готовит ему торговую карьеру. Ибсен ушел. Покидая родной городишко шестнадцати лет от роду, он, как бы в награду, или в предвестие, увидел впервые Северное море. Так Зигфрид, впервые прислушавшийся к шуму леса, не разли-

чил сначала отдельных голосов, только остановился очарованный.

Через несколько лет, после упорной борьбы с обществом и отчаянья при виде упадка родины, Ибсен с тою же роковой последовательностью покидает и *родину* и *общество*. «Будут норвежцы брести еле-еле по полю жизни!..» – восклицает он. Конечно, кто такие норвежцы, как не «общество» злых и корявых Нибелунгов, пребывающих в домашних спорах? Кто посильней, бьет того, кто послабее: Фафнер – Альбериха, Альберих – Миме, Миме – своих карликов. Купец Олаксен строит спичечную фабрику и для этого разрушает лавочку торговца Торлаксона.

Ибсен поднимает над своими Нибелунгами бич сатиры: «Я поднял бич сатиры над любовью и браком, потому вполне в порядке вещей, что раздалось столько воплей в защиту и брака и любви» (из предисловия к «Комедии любви»). Нибелунги разозлились и восстали. «Слушай, сыночек Зигфрид, я ведь всегда от души тебя ненавижу и хочу срубить тебе голову», – говорит глупый Миме Зигфриду. В ответ он получает удар меча.

Ибсен «повертывает свои корабли кормами к северу». Родительский дом, родина, общество – позади. Так кончается *первый период* деятельности Ибсена, такова его жизнь до зрелого возраста. Не правда ли, она подобна первым шагам героя саги.

Что же происходит теперь?

Теперь Ибсен – автор *Бранда*. Его воля напряжена до предела. Его мозг искушен в вопросах о долге, о призвании, о личности, о жертве, о народе, о национальности. Его сердце знает сомнения и любовь, ужас и сладость одиночества. Впрочем, более одиноким, чем теперь, он не был никогда – как среди друзей, так и среди врагов: он прославленный писатель. Ему под сорок лет. Это – «жених, идущий навстречу невесте», носитель «королевской мысли» о духовной жизни Норвегии, – говорит биограф Ибсена.

В творчестве Ибсена происходит коренной переворот. Сатирическому задору юности, историческому и легендарному жанру пришел конец. Наступают события.

Какой-то упрямый пастор Бранд гибнет в горах, во мраке метели. Отвергнутую церковь

земную заменила ему «снежная церковь» – лавина. Перед гибелью является ему призрак мертвой жены.

Какой-то взбалмошный бродяга Пер Гюнт достигает лесной хижины и умирает усталый, убаюканный песней Сольвейг – песней Вечности.

Так Зигфрид, понявший голос птицы, достигает вершины скалы, разрывает огненное кольцо и обретает свою любовь и гибель близ дочери Хаоса, которую он разбудил.

Страшен холод вершин. Что происходит на вершинах с теми, кто остается там один, лицом к лицу с «Богом Милосердия» (Deus Caritatis)?

Здесь я ставлю вопросительный знак: может быть, с этой минуты пути героя и человека расходятся: юноша Зигфрид вступает на свой последний, *ясный и крестный*, не омрачаемый даже изменой путь. Зрелый муж Ибсен вступает на путь, который нам до сих пор непонятен. Мы еще его не измерили. Это – путь, самим Ибсеном названный «долгой-долгой Страстной неделей»; путь, может быть, *тоже ясный и крестный*. Но этот путь соблаз-

нял многих из нас. Спасибо за соблазны, хвала Ибсену!

В горах с Брэндом и в лесу с Пер Гюнтом произошло нечто, стоящее вне известных нам измерений. Явным и, так сказать, «материальным» следствием этих *событий* было возвращение писателя Ибсена на родину. Он воротился не таким, каким уезжал. Появляется любезный, сухой и злой Ибсен, в щегольском и всегда застегнутом сюртуке и в перчатках. Ибсен говорит речи. Он говорит, что «нельзя влачить корабль к светлому будущему, когда есть труп в трюме» («труп в трюме» – какой зловещий и... красивый образ!). Нельзя, говорит Ибсен, вечно твердить о «Третьем Царстве», когда современное человечество и, в частности, норвежский народ не может войти в широкие ворота вечных идеалов, минуя узкие двери тяжелого и черного труда.

Итак, Ибсен возвращается «к родной и близкой» (как говорится) действительности. Он анализирует и врачует «язвы общества». В руках у него – микроскоп и скальпель.

Разве не тревожили Ибсена давно уже общественные вопросы? Разве он был когда-ни-

будь вне национальности, вне родных? Разве не вопрошал он еще в ранней юности норвежских скальдов, «не на пользу ли народу дан им поэтический дар»?

Мораль и польза! Виват! Ибсен стал реформатором! Ибсен перестал быть «чистым художником»! – К нему бросается свора публицистов, критиков. Он повторяет им: «Столпы общества» – раз! «Кукольный дом» – два! «Доктор Стокман» – три. Голодные критики хапают, не разбирая, нет ли в каком-нибудь из этих вкусных «вопросов» – кусочка иглы. Пятьдесят Нор выходят из себя, чтобы острее, больнее, талантливее изобразить в лицах проклятый женский вопрос. Для одной из них галантный Ибсен даже меняет конец «Норы» (шутка сказать – наоборот!).

Herr Ibsen пишет, гуляет, делает указания актерам. К назойливо лезущему не вовремя гостю Herr Ibsen выходит с пером в руках. С пера капают чернила.

Это единственный знак досады, ни слова нелюбезного, – и гость сконфужен. Fru Ibsen блюдет покой и пищеварение супруга. Когда на улице наберется достаточно народу, она

отдергивает занавеску: взорам зевак представляется Ибсен, погруженный в работу.

Теперь Ибсен роняет бездонные, многозначные, не всем одинаково понятные слова:

*Знакома мне паденья глубина.
Весенних басен книга прочтена.
Мне время есть размыслить о морали.*

Что значит «глубина паденья»? Если сопоставить эти слова с «трупом в трюме» (чей труп?), становится жутковато. Слышите грохот лавины, погребаящей под собою Бранда? И голос Сольвейг, баюкающий усталого путника?

Ибсен уходил от родины, чтобы увидеть солнце, которого он «дома никогда не видал». Вот он опять на своей бессолнечной родине, но в какой-то новой броне.

*Он весь закован был в броню
Оруженосец – Смерть...*

Изменились темы и приемы Ибсена, изменились даже наружность и почерк. Отказавшись быть «женихом в брачной одежде», он стал «великим чернорабочим». Он стал «понятным»... Какою мерою излить толпе и слу-

гам ее, критикам, благодарность на писателя, который «отрезвел» и, «как все», занялся женским и всеми прочими вопросами?

Под гром рукоплесканий Ибсен проходит эту *вторичную часть* своего пути. Наступает «действие третье».

Внешним образом ничто не переменяется. То же приличие, любезность, речи, перебиваемые иногда «нелюдимостью» или «странностями писателя» («странностями» называются просьбы не приставать с глупостями). И вдруг (для публики «вдруг», потому что годы дум и сомнений – для публики один миг) Ибсен опять превращается во что-то новое и перестает быть понятным. Иначе говоря, не только его новые произведения уже менее питательны для публицистов, но они заставляют подозревать, что и «Кукольный дом» не был так прост; что в кусках, бросаемых критикам, были иголки. Публика и критики начинают ахать и давиться. Теперь в драмах Ибсена явственно бьет какой-то незнакомый ключ. Его происхождение объясняют на все лады. Но ведь и мы не знаем доселе, сколько в этом ключе живой и сколько мертвой воды...

Кто это – *Гедда Габлер*? Любит или ненавидит ее автор? Влюблен или презирает, или – и то и другое вместе? Что такое «белые кони» *Росмерсгольма*? И гибель от рока, тяготеющего над домом? Бывают разве *Женщины моря*? Разве это не бесполые наяды, глупые рыбы с ликами прекрасных дев? Почему Элида бежит по берегу моря и, как птица, хлопает обрезанными крыльями? Почему она вдруг, именно как птица, смешно и неуклюже бросается назад в клетку? – Действительно ли сумасшедший или только притворяется таким *Строитель Сольнес*? Почему какая-то глупая девчонка, стучащая в дверь, заставляет воздвигать нелепую башню, требует какое-то «королевство на стол» и при этом называется «юностью»? Или мозг Строителя разгорячен, и все это только его бред?

Мы побывали «где-то там» и уже не принадлежим к разряду тех крепколобых, которые до сих пор объясняют все это «по-норвежски», или «по-международному», или психологией, или моралью, или... женским вопросом. Но, побывав там, мы возвратились сюда. Сегодня мы здесь.

И я спрашиваю себя: если я захочу сейчас строить дом, неужели ко мне придет какая-то девчонка, которую я видел всего раз в жизни, заставит меня построить нелепую башню и... при помощи каких-то роковых флюидов заставит меня полететь вниз головой во славу... юности, носительницей которой она является, потому что у нее хорошенькое личико и дорожная палка в руках?

Мы не страдаем тупостью, мы не скрываем от себя, что *может быть* – и так. До подробностей так, как описано в драме Генриха Ибсена. Но, может быть, и не так? Страшно, Генрих Ибсен, мы не совсем ясно видели твое лицо и не совсем отчетливо слышали твое слово... Куда ты нас завел?

Современный Ибсену критик Шленгер говорит по поводу последней драмы («Когда мы, мертвые, пробуждаемся»): «Если бывали вообще коварные художественные произведения, так это новейшие драмы Ибсена». Можно прибавить: новейшие драмы Ибсена обнаружили только, что *все* его творчество подобно стремительному бурному потоку, в котором много подводных камней. «Люди по-

лагают, что я с течением времени менял свои взгляды, но это большая ошибка. На самом деле мое развитие шло вполне последовательно», – говорил Ибсен. Все творчество его многозначно, все говорит о будущем, о несказанном, – и потому соблазнительно. Великая благодарность и хвала Ибсену за соблазны! Если он соблазнил кого, то ведь соблазняются только путники. Стоящие же на месте – те только обманываются. Их, пожалуй, Ибсен действительно обманул: кинувшись с разных сторон в объятия «морали», глупцы стукнулись лбами над пустотой.

Еще вчера Россия пережила неповторимые года. В те года мы шли по следам Ибсена именно третьего, особенно опасного периода. Имя Ибсена красовалось на нашем знамени, оно красуется на нем и до сих пор. Слава Ибсену!

Мы еще по-новому вернемся к нему. Мы совершили с Ибсеном незабвенный, прекрасный, но полный ужасов путь. Он был суров и жесток с нами; быть может, многими страшными днями мы обязаны ему. «Нежная ткань души» – она, пожалуй, не сохранилась в нем.

И – Бог с ней. Лесопилки, позорные столбы, тюрьмы, сумасшедшие дома, казни – делают свое дело; они его сделали и с Ибсеном, делают и с нами. Ужас воспоминаний жизни превратился для Ибсена в грохот Брандовой лавины и в голос Вечности в лесу. Сам он остался на свете, долго еще присматривался ко всему зорким оком, и понемногу сидящая голова его превратилась в мохнатую голову горного орла.

Орел летит и летит. Озираясь назад, он манит нас за собою. Мы следуем от одной скалы к другой. Близится море. Близится конец века. Мы изнемогаем.

Орел садится впереди, на недоступной скале. Мы останавливаемся. Мы слышим между скалами какие-то непонятные, почти безумные, слова о «цветах и листьях». Говорят Ирена и Рубек – призраки. Оглядываемся – никого. Только орел сидит, озираясь, на вершине скалы. – Век на исходе.

Вдруг грохот лавин, свист бури и мрак. И во мраке – голос Вечности. Орел срывается и с криком исчезает над морем. Мы остаемся одни, среди фьорда, среди ночи, обожженные

снегом.

Дни и ночи мы ищем путей, обрываясь и вновь цепляясь за скалы. Вот наконец зеленеют лощины. Кусочек давно оставленной земли, на ней пробивается трава.

Наконец земля – после бесконечного снега, безначального воздуха и огня! – Навстречу из лощины выходит человек с горькой складкой страданий под жесткими усами, с мужественным взором серых глаз. Наконец, – после орлего лика – человеческое лицо!

Август Стриндберг.

